



АЛАЯ БУКВА



*Таможня*  
*Вступительный очерк*  
*к роману «Алая буква»*

Хотя я не склонен, даже сидя у камелька в тесном кругу друзей, распространяться о своей персоне и о своих делах, все же, пожалуй, не так уж странно, что у меня дважды появлялся автобиографический зуд, понуждая обратиться к публике от собственного лица. Впервые это случилось года четыре назад, когда, без всяких разумных причин, которые мог бы привести в качестве оправдания снисходительный читатель или сам навязчивый автор, я облагодетельствовал общество описанием своей жизни в нерушимой тишине старой усадьбы. И так как тогда мне посчастливилось найти за пределами моего уединенного жилища нескольких слушателей, теперь я снова хватаю публику за пуговицу и делюсь с нею воспоминаниями о моей трехлетней работе в таможне. Никто еще так добросовестно не следовал примеру «П. П., приходского писца». Дело, по всей вероятности, в том, что, когда автор отдает на произвол стихий исписанные им листки, он обращается не к тем многочисленным читателям, которые тут же отложат книгу в сторону или вовсе не возьмут в руки, а к тем немногим, которые поймут ее лучше, нежели большинство его приятелей по начальной школе или по школе жизни. Разумеется, иные писатели идут куда дальше и позволяют себе такие откровенные признания, которые пристойно делать лишь одному-единственному, родственному по духу и сердцу, существу: словно брошенная в шумный мир книга непременно отыщет отделившуюся от автора половинку

и, соединив его с нею, тем самым довершит круг его бытия. Тем не менее вряд ли следует говорить все — даже когда говоришь от имени третьего лица. Но так как мысль съезживается, а язык примерзает к гортани, если у говорящего нет ощущения связи со слушателями, ему прощительно вообразить, что он беседует с другом, не самым близким, но внимательным и чутким; от такого приятного сознания наша природная сдержанность оттаивает, мы принимаемся болтать обо всем на свете и даже о нас самих, не приподнимая, однако, завесы над нашим сокровенным «я». Мне думается, что только в такой степени и в таких пределах писатель может быть автобиографичным, не нарушая при этом ни интересов читателя, ни своих собственных.

Очерк «Таможня» еще и потому имеет известное право на существование — право, всегда признаваемое литературой, — что в нем я расскажу, как попали в мои руки многие страницы нижеследующей истории, и приведу доказательства истинности изложенных в ней событий. Таким образом, по сути дела, настоящей причиной моего прямого обращения к публике является желание показать, что я всего лишь издатель или чуть больше этой самой многословной из всех напечатанных мною повестей. Я позволил себе, не слишком отклоняясь от главной своей цели, дать несколькими дополнительными штрихами беглый набросок людей, чей образ жизни нигде прежде не был описан; среди них находился и сам автор.

В моем родном городе Сейлеме, перед сооружением, которое еще полвека назад, во времена старого Кинга Дерби, было оживленной пристанью, а нынче превратилось в ряд полуразрушенных деревянных складов и почти не обнаруживает признаков торговой деятельности, если не считать брига или барка, выгружающего кожи среди этого меланхолического запустения, или шхуны из Новой Шотландии, сбрасывающей груз дров у въезда в город, — так вот, перед сейлемской обветшалой пристанью, которую

частенько затопляет прилив и где кайма чахлой травы вокруг строений свидетельствует о ленивой поступи десятилетий, стоит поместительное кирпичное здание, выходящее окнами фасада на это не слишком веселое место и на другой берег гавани. Высоко на его крыше ежедневно, ровно с половины девятого утра и до полудня, полощется на ветру или уныло свешивается при безветрии флаг республики; тринадцать полос на нем расположены не горизонтально, а вертикально, возвещая тем самым, что правительство дядюшки Сэма представлено здесь только гражданскими властями. Балкон над лестницей с широкими гранитными ступенями покоится на шести деревянных колоннах портика. Вход увенчан огромным экземпляром американского орла с распростертыми крыльями, щитом перед грудью и, если память не изменяет мне, пучком молний вперемежку с зазубренными стрелами в каждой лапе. С присущей этой злосчастной птице неуравновешенностью нрава она и гневным взглядом, и клювом, и всей свирепостью осанки словно грозит погибелью безобидным горожанам, особенно предостерегая всех, кому сколько-нибудь дорога жизнь, от вторжения в пределы, осененные ее крыльями. Тем не менее немало людей и сейчас пытается укрыться под крылом федерального орла, полагая, очевидно, что, несмотря на его сварливый вид, грудь у него мягка и уютна, как пуховая подушка. Но и в благодушнейшие минуты он не отличается чувствительностью натуры и рано или поздно — скорее рано, чем поздно, — отгонит от гнезда своих птенцов, исцарапав их, клюнув или ранив зазубренной стрелой.

Обильная трава в расселинах мостовой вокруг описанного здания — с этой минуты мы будем называть его портовой таможней — говорит о том, что за последнее время оно не подвергалось буйному натиску деловой жизни. Однако в определенные месяцы выпадают такие утра, когда дела идут более ходко. И тут старожилам вполне уместно вспомнить о годах перед последней войной с Англией,

когда Сейлем был настоящим портом, а не таким, как теперь, презираемым даже местными купцами и судовладельцами, которые не препятствуют его пристаням ветшать и осыпаться, меж тем как товары помянутых купцов незаметно и без видимой пользы вливаются в мощный поток нью-йоркской и бостонской торговли. В такие утра, когда несколько судов, большей частью африканских или южноамериканских, одновременно прибывают или готовятся к отплытию, вверх и вниз по лестнице спуют люди, и торопливые их шаги громко стучат по гранитным ступеням. Здесь можно встретить — прежде чем его встретит собственная жена — загорелого шкипера, который только что вернулся в порт и несет под мышкой облупленную жестяную банку с судовыми документами. Появляется здесь и судовладелец, веселый или сумрачный, любезный или насупленный в зависимости от того, какие товары доставлены на его только что воротившемся судне, — такие, которые быстро превратятся в золото или, напротив того, лягут тяжким, бесполезным грузом на плечи хозяина. Здесь мы увидим зародыш морщинистого, седебородого, озабоченного купца в лице молодого расторопного клерка, который входит во вкус коммерции, как волчонок — во вкус крови, и уже отправляет собственные товары на хозяйском корабле, хотя ему больше пристало бы пускать кораблики у мельничной запруды. Увидим мы возле таможни и уходящего в дальнее плавание матроса, которому нужно свидетельство о гражданстве, и другого матроса, только что высадившегося на берег, худого и бледного, ожидающего направления в госпиталь. Не следует забывать и капитанов маленьких проржавевших шхун с грузом дров из британских владений; эти грубые с виду морские волки не отличаются внешней бойкостью янки, но вносят немаловажную лепту в хиреющую сейлемскую торговлю.

Если собрать их вместе, как оно порою случается на самом деле, и присоединить к ним для разнообразия случайных посетителей, таможня станет на время и впрямь

оживленным местом. Но, поднявшись по ступеням, вы куда чаще увидите на площадке у входной двери, если погода летняя, или в соответственных помещениях, если холодно и дождливо, почтенных джентльменов, которые расположились в старомодных креслах, откинутых на задних ножках спинками к стене. Обычно эти джентльмены спят, но иногда все же переговариваются, и речь их — нечто среднее между храпом и членораздельными звуками — отличается особой вялостью, присущей обитателям богаделен и прочим человеческим существам, полностью зависящим от благотворителей, от пожизненной должности — словом, от чего угодно, только не от собственной их деятельности. Описанные выше старцы, сидящие подобно Матфею у сбора пошлин, но едва ли могущие рассчитывать на то, что их призовут к свершению апостольских деяний, и являются таможенными чиновниками.

По левую руку от входа находится комната, именуемая конторой, размером пятнадцать на пятнадцать футов, с очень высоким потолком и тремя полукруглыми окнами; два из них выходят на упомянутую запустелую пристань, третье — в узкий переулок и на прилегающую к нему часть Дерби-стрит. Из всех трех видны лавки бакалейщиков, судовых поставщиков, старьевщиков, такелажных мастеров, у чьих дверей толпятся, смеясь и болтая, отставные моряки и разные сомнительные личности, неизбежные в дебрях любого портового квартала. Грязные, облупленные стены конторы затянуты паутиной, пол посыпан серым песком — обычай, повсюду уже давно вышедший из употребления; неопрятность, которая царит в этом святилище, с несомненностью свидетельствует, что туда почти нет доступа женскому полу с его магическими орудиями — веником и шваброй. Вся обстановка состоит из печи с огромным вытяжным колпаком, старой сосновой конторки, трехногого табурета возле нее, нескольких совсем ветхих, неустойчивых стульев с жесткими сиденьями и — немаловажная подробность — из библиотеки, то



есть книжных полок, где приютилось десятка четыре томов постановлений конгресса и объемистый сборник правил взимания таможенных пошлин. Сквозь потолок пропущена жестяная труба, через которую можно переговариваться с другими помещениями таможни. И вот с полгода назад в этой комнате ходил из угла в угол или сидел на высоком табурете, опершись локтем о стол и рассеянно просматривая утреннюю газету, тот самый человек, который когда-то приветствовал вас, многоуважаемый читатель, на пороге своей уютной рабочей комнатки в старой усадьбе, куда весело заглядывали сквозь кроны ив лучи клонящегося к закату солнца. Но если бы вы захотели повидать его в таможне сейчас, то напрасно справлялись бы о надзирателе — ставленнике демократов: метла преобразований вышвырнула его оттуда, и теперь новый, более достойный человек занимает его место и кладет в карман его жалованье.

Хотя и в юности, и в зрелые годы мне случалось надолго уезжать из старого Сейлема, моего родного города, все же я чувствую — или чувствовал — привязанность к нему, силу которой начинал понимать, лишь когда его покидал. Что и говорить, унылая равнинная местность, застроенная деревянными домами, в общем не претендующими на архитектурные красоты, неправильная, но весьма ординарная планировка без намека на живописность или оригинальность, лениво и сонно протянувшаяся по всему полуострову нескончаемая Главная улица, которая одним концом упирается в городскую тюрьму и Висельный холм, а другим — в богадельню, — словом, весь внешний вид города, где я родился, способен внушить не больше нежных чувств, чем доска с беспорядочно разбросанными шашками. Однако, хотя в других городах я неизменно был счастливее, к старому Сейлему у меня сохранилось чувство, которое, за неимением более точного слова, я принужден назвать привязанностью. Возможно, она объясняется тем, что моя семья издавна пустила в эту почву глубокие

корни. Почти два с четвертью столетия протекли с тех пор, как некий британец, первый из эмигрантов, чье имя я ношу, появился в глухом, окруженном лесами поселке. Там жили и умирали его потомки, смешивая земной свой прах с почвой, так что немалая ее доля стала сродни брэнной оболочке, в которой мне дано еще какое-то время ходить по сейлемским улицам. Таким образом, это мое пристрастие отчасти объясняется бессознательной симпатией праха к праху. Не многие из моих земляков поймут меня, да оно, пожалуй, и к лучшему, потому что частая перемена местожительства, по-видимому, лишь совершенствует породу.

Но есть для моей привязанности основание и другого, нравственного порядка. С тех пор как я себя помню, в моем детском воображении жил образ нашего родоначальника, которого семейные предания окружили туманным, сумрачным величием. Он до сих пор преследует меня, и я испытываю к прошлому этого города некое родственное чувство, которое отнюдь не распространяется на его настоящее. Мне чудится, что своим правом обитать в Сейлеме я обязан не столько самому себе, чье лицо мало кому знакомо, а имя — памятно, сколько этому бородатому, одетому в черный плащ и островерхую шляпу суровому прародителю, который так давно появился здесь с Библией в одной руке и шпагой — в другой, так торжественно выступал по только что проложенной улице и был такой заметной фигурой в дни мира и войны. Он сочетал в себе воина, законодателя, судью, правил церковными делами, отличался всеми достоинствами пуритан и всеми их недостатками. Как истый пуританин, он был фанатиком, и квакеры свидетельствуют в своих воспоминаниях о его беспощадной суровости к одной женщине из их секты — жестокости, которую, боюсь, будут помнить дольше, чем любое из его многочисленных благих деяний. Сын унаследовал от отца дух фанатизма и сыграл столь зловещую роль в преследовании ведьм, что кровь их, так сказать, оставила

на нем несмыываемый след, который, должно быть, до сих пор пятнает его старые иссохшие кости, зарытые в земле Чартерстритского кладбища, если, разумеется, они еще не окончательно рассыпались в прах! Не знаю, достаточно ли раскаялись мои предки в своей жестокости, чтобы заслужить прощение небес, или до сих пор стонут в ином мире под бременем ее последствий. Так или иначе, я, пишущий эти строки, беру в качестве их представителя весь позор на себя и молю, чтобы отныне и до скончания веков над ними не тяготело проклятие, хотя они и заслужили его, судя по тому, что я слышал и что нам известно о трудных и мрачных условиях существования в те давно минувшие времена.

Впрочем, любой из строгих и угрюмых пуритан, несомненно, счел бы вполне достаточным искуплением своих грехов то обстоятельство, что почтенный замшелый ствол их старинного фамильного дерева дал через столько лет на своей верхушке отросток в образе такого бездельника, как я. Цели, которые я когда-либо ставил себе, показались бы им недостойными, успехи — если в моей жизни, вне пределов домашнего круга, были какие-нибудь успехи — они сочли бы жалкими и даже постыдными. «Что он делает в жизни?» — шепчет один седой призрак другому. «Строчит романы! Разве это занятие, разве это способ прославить Творца или послужить роду человеческому в отпущенные ему дни? Просто непостижимо! Почему бы этому выродку не стать уличным музыкантом — одно стоит другого!» Такими комплиментами награждают меня мои праотцы через вековую пропасть! Но как бы они на меня ни гневались, свойства их сильных натур проглядывают и во мне.

Итак, потомки этих ревностных и деятельных людей, укоренившись в Сейлеме еще со времен его младенчества и детства, продолжали жить в нем, блюдя величайшую добропорядочность: никто из них ни разу не посрамил предков неблагоприятным поведением, точно так же, впрочем, как и не совершил — не считая, разумеется, двух ро-

дона начальников — сколько-нибудь памятного или хотя бы приметного для сограждан поступка. Напротив того: они чем дальше, тем меньше бросались в глаза, как те старые дома на сейлемских улицах, которые чуть ли не до стрех ушли в землю, заносимые все новыми слоями почвы. Почти сто лет эти люди из поколения в поколение были связаны с морем; седоголовый шкипер, отец семейства, покидал капитанскую каюту ради домашнего очага, а его четырнадцатилетний сын занимал наследственное место на баке, грудью встречая соленые волны и шторм, столь же неистовые, как во времена его родителя и деда. Потом юноша в свой черед переходил с бака в капитанскую каюту и, бурно проведя лучшие годы жизни в странствиях по свету, возвращался домой, чтобы состариться, умереть и смешать свой прах с родной почвой. Длительная связь семьи с тем местом, где увидели свет и были погребены все бывшие ее члены, превращает эту связь в сродство, уже не зависящее ни от привлекательности окружающей природы, ни от жизненных условий. Тут дело не в любви, а в инстинкте. Не может называться сейлемцем человек, чей отец и даже дед, не говоря о нем самом, люди приезжие, ибо ему никогда не понять поистине устричной привязанности коренного поселенца, над которым ползет уже третье столетие, к клочку земли, где покоятся многие поколения его предков. Неважно, что город не радует его душу, что он устал от старых деревянных домов, пыли и грязи, от плоского ландшафта и плоских чувств, от леденящего восточного ветра и еще более леденящей атмосферы общественной жизни: и эти, и любые другие недостатки, которые он видит или придумывает, не имеют ровно никакого значения. Чары не исчезают, они так же могучи, как если бы родные места были земным раем. Поддался им и я. Словно какой-то высший долг повелевал мне обосноваться в Сейлеме, чтобы в течение отпущенного мне срока обитатели города видели черты лица, узнавали особенности характера, искони всем памятные, ибо стоило